

БЕЛКА

Задумано было так — комната огромная, белая. Окно в целую стену, штора полощется на сквозняке — не пошлая тюлька, а нежная, прозрачная ткань. Мебелей никаких — может, только кресло какое плетеное или полка-загогулина, чтобы набросать на нее морских ракушек и парочку ярких книг. И воздух, воздух гуляет, штору колышет, а за ней что-то синее, сверкающее, не разобрать сразу: то ли море, то ли небо.

К такой комнате платье белое, длинное, до самого пола, с кружевом по подолу и груди — а плечи открытые, смуглые, наполированные солнцем. Прическа там, губы, глаза — это все понятно. Кольца пусть с камнями, чтобы свет от них отскакивал и разноцветными зайчиками по стенам метался.

Белка продумала все, до мелочей. Глядела по сторонам: рекламы, журналы, крики телевизора, чужие разговоры — просеивала, выискивала нужное, прикладывала к своей картинке, хорошо ли, ладно сидит? И картинка получалась нарядная, почти объемная и живая — светлое и безопасное убежище, пусть недоступное пока, но где-то непременно существующее.

По утрам Белка просыпалась от стука — бабка долбила в стену кулаком, пора было вставать и завтракать. Вот тебе и мечты о белом платье — попробуй-ка сохрани, когда надо таскать на себе чужую немощ — сначала в ванную, потом на кухню. Кормить размоченным печеньем, смотреть, как капает на застиранный ситец молоко, как дрожат темные руки и слезятся отцветшие глаза.

После завтрака бабка беспокоилась и даже покрикивала — хотела обратно в свою комнату. Вцепившись в Белкину руку, она почти бежала и мелко тряслась, пока не усаживалась на свое сокровище — прошловековой сундук, обшарпанный временем в труху, но по-прежнему, как и сто лет назад, закрытый на крепкий замок. Дряхлое тело сундука сжимали полоски кованого железа, и даже узоры какие-то вились по его бокам, но Белка никогда их не рассматривала. На сундуке бабка сидела весь день: стерегла неизвестные сокровища, шепталась сама с собой и изредка стучала по стене, вызывая Белку по своим гигиеническим надобностям.

Чего греха таить, в белой комнате Белка была не одна — ей требовался восторженный зритель, готовый любоваться морем, плечами и прической. И ведь комната только-только была придумана, а он уже нашелся — брюнет с глазами синими и теплыми, с чудесной и многообещающей фамилией Любимов; правда, не совсем восторженный, а скорее скучающий. Именно он превратил ее имя — единственную вещь, достойную белой комнаты, — в собачьи позывные. Была Изабелла, а стала Белка, Белянка и даже иногда Белохвостикова — бог везет почему.

С задуманной ролью Любимов справлялся плохо, он вообще был малопонятный, щипал Белку за подбородок, спрашивал, где Стрелка — это была его лучшая шутка. Но она не обижалась — там, в чистоте ее вымыслов, все будет правильно и понятно, а пока что — черновик, карандашные наброски... Ходила к нему два раза в неделю, олады тепленькие носила из дому — у себя на кухне он хозяйничать не разрешал: разведешь, говорил, шум и вонь, да еще и привыкнешь тут, прикормишься.

На самом деле Белка и правда смахивала на собачонку — блеклая, как разбавленное молоко, суетливая, круглоглазая. Когда в зеркало смотрела, сразу дворянжек вспоминала, пугливых и обиженных. В белые комнаты таких не пускают — куда-да прешь? — для них улица предназначена, с пыльными двориками, голубиным говором и помоечной радостью. А если не хочешь бегать по мусоркам, есть и другой вариант, но его не каждая собака выдержит: берут тебя, значит, запутывают ремнями, и прямиком в космос, вращаться вокруг Земли, ничего не понимать, дрожать от ужаса — отчего это только что гладили и угощали, и вдруг оставили одну и навсегда?

Получив от Любимова новое имя, Белка часто думала о космических собаках — толковые, видать, были животные, а одна даже тетка — дворняги, а гляди-ка, на весь мир прославились. И хоть собак давно уже не отправляли в безвоздушную пустоту, и вокруг Земли теперь кружили суровые мужчины, Белке все представлялось, как летят в черноте две лохматые подружки и даже пожаловаться на страх не могут — только лаять в равнодушный радиоэфир. Всплакнув при мысли о бесконечном собачьем одиночестве и бесконечной же доверчивости, Белка снова возвращалась в свою придуманную комнату — в ее белизне не было места слезам и тоске.

Когда Белкина покорность Любимову надоела, его шутки стали обидными — что-то про ободранный хвост, кривые лапки и мокрый нос. Это было неправильно — Белке было больно от несоответствия, а вымечтанная

картинка дрожала и теряла блеск. Белка подумала-подумала и решила, что пора рассказать ему про комнату, теплый морской сквознячок, бриллиантовые зайчики и солнечную ласку. Только красиво говорить у нее не получалось, слова разбегались и прятались — но вот же, посмотри в меня, в глаза мне посмотри — вон оно там, белое, очищенное от повседневности счастье, видишь?

Любимов ничегошеньки не увидел, а из всего Белкиного бормотания понял только, что она хочет платье, кольцо и на море — очень рассердился, обозвал Белку полоумной, выгнал и так равнодушно закрыл за ней дверь, что ясно стало: ничего не жди больше, никогда.

Белка шла по улице и твердила себе без всякой злости — ну было, было. Достался мне маленький кусочек твоей жизни, а остальное съест кто-то другой, посильнее да поумнее. И картинки мои беспомощные — собирала, склеивала, додумывала — и без толку, от одного слова рассыпались в пыль, а я теперь как собака в космосе — кручусь и гавкаю бессмысленно, в пустоту.

Войдя в привычный домашний запах — пыли, духоты и старости, Белка разулась, прижалась спиной к холодной стене и закрыла глаза. Долго страдать было некогда: пора готовить ужин, и стирки накопилось, и бабка уже колотит в стену — зовет к себе.

Белка прошла по узкому темному коридору, повернула в бабкину комнату и на мгновение ослепла от внезапной сияющей белизны, яркими пятнами разбросанной по стульям, ковру и кровати — кофточки, сорочки, панталоны, нижние юбки, что-то непонятное на бретельках и пуговицах, в сложном переплетении шнурков, рюшек и бисерной бахромы.

У распахнутого сундука стояла бабка, улыбалась и протягивала Белке платье — обшитое кружевом по подолу и груди, белое и длинное — до самого пола.

НА ТЕМНЫХ БЕРЕГАХ

Это дрянной городишко, мелкий. Хоть и при море, но тоскливый. Туристов не водится, а угрюмые местные экономят воду и старательно продают друг другу кислые червивые яблоки.

Из всех красот только валуны на морском берегу и косой домик с табличкой: когда-то в нем несколько недель прожил то ли поэт, то ли писатель — фамилию его каждый знает, ну как же, наследие, глыба, щелкаем пальцами — эти-то, бессмертные строки: «скажи мне»... или там «кто же ты...», а, нет — «покрыты мглою эти грезы»... Надо будет перечесть. На досуге как-нибудь.

За скользкими неудобными камнями прячется море. Правда, купаться здесь мало кто любит — ноги переломает, пока окунешься. И ни один страждущий славы археолог еще не открыл этих мест, покрытых древней кровью и усыпанных осколками чьих-то жизней — гордые, полуголые, черноволосые и прекрасные люди тысячелетней давности окунали в эти воды смуглые руки, пили густое вино и собирали те же яблоки — неизвестно, водились ли тогда во фруктах червяки. Глиняные черепки и изъеденные соленой водой неопознанные штуковины местные равнодушно швыряют обратно в море, и тяжелые волны словно пожимают плечами — не берете и не надо, не очень-то и хотелось.

Ах да, есть в городе еще одна примечательность — дурная Верка, которой когда-то приснилось, что она замужем за морем.

Девчонкой она была самой обычной, росла тихо — школа, братья, плохая обувь, телевизор по вечерам. Вошла в пору, отрастила грудь и челку, обозначила талию тонким пояском, слушала, как гудит и греется где-то внутри сочная юность, танцевала некрасиво, как все.

Тот самый сон приснился ей поздней осенью, когда волны пощечинами наотмашь колотили прибрежные камни. Верку в тот день занесло на побережье — то ли уроки прогуливала, то ли пряталась от братьев. Устроившись между двумя валунами, она тряслась от холода, наблюдая за дракой воды и ветра, и вдруг особо рьяная волна вынесла вперед и аккурратно отпустила на гальку темный предмет, похожий на подгоревший и подгрызенный мышью рогалик.

Вера принесла находку домой, но показывать никому не стала — страшно болела голова, тошнило и хотелось спать. Но уснуть не могла, все крутилась — душно, душно, лоб пылает, а ноги отчего-то ледяные. Морской подарок лежал у подушки — когда-то он плотно охватывал женское предплечье и отражал в своем золотом боку горячие солнечные лучи, а после — ничего, только долгие, темные, соленые столетия.

Потом Вера уснула. Ей приснились поющие волны, плотное и нежное морское тело, всесильное, вечное и равнодушное. Веру качало и несло, тысячи голосов баюкали ее давно забытыми колыбельными, воскресали звуки и запахи, струились ткани и звенели монеты, где-то плакал младенец, ругался мужчина, и едкая соль морской воды высыхала на губах. Потом холод и соль пропали, пришло тепло, просочилось сквозь кожу, пропитало сердце и легкие, и Вера ясно поняла, что перестала быть человеком, а стала морем, частью его, возлюбленной и дочерью, хозяйкой и рабыней. Объяснить это она бы не смогла — да и кому нужны были эти объяснения?

Болела Вера долго, месяца четыре, кашляла так страшно, что мать боялась — помрет.

Но Вера выздоровела и весной появилась на улице в старом синем платье без рукавов. Мать и братья почти не разговаривали с ней с тех пор, как она рассказала им, что собирается замуж за море, а подарок от жениха отобрали и выкинули. Ее драли ремнем, поили пустырником и снова драли. Потом махнули рукой — пусть. Четыре мужика в доме растут, не до того.

Худая, обгоревшая и стриженная почти налысо, Вера дни напролет бродила по берегу. Воды не касалась — неприлично без приглашения. Удивительно тихое тогда выдалось лето, теплые дожди, ни штормов, ни волн, а только легкая сияющая рябь, слепящие блики, чаячья радость.

Вечерами Веру уводили домой — мать или младший брат — старшие стеснялись.

Хорошая гроза пришла только в конце лета, ветер рвал белье с веревок, сшибал с ветвей яблоки и обещал ливень. Брат побежал за Верой пораньше и успел увидеть, как радостно бросалась она в жестокие волны, навстречу пенным кольцам — наконец-то ее позвали, дождалась, дождалась! И пели трубы морских царей, и рыбы выстраивались в свадебный кортеж, свивая мантии из водорослей, складывая дворцы из корабельных остовов — как же манят бесконечные глубины вечной жизни и любви, и нет, и не может быть небытия — ни для кого, никогда.

Выловив Веру, брат отнес ее домой на руках — живую, плакал и матерился, и все удивлялся, каким легким стало ее тело, словно потерявшее земную тяжесть и плывущее в соленой воде...

Ближе к полуночи мать выключает телевизор и укладывает Веру спать. В доме тихо и пусто — братья давно выросли и разъехались — работают где-то, женятся и не пишут отчего-то совсем.

— Пойдем, пойдем, завтра, а как же, — отвечает мать на Верин вопросительный взгляд, и дочь улыбается ей ласково и бессмысленно. Вера засыпает быстро, а мать от бессонницы читает местную газету — на последней страничке стихи.

— Ну, загибает, — бормочет мать себе под нос, — прям как наш, этот, — и кивает в сторону чернильного квадрата окна, усталого сада, пустой улицы и холодного домика на черном берегу, где всего лишь сотню лет назад горела свеча и сыпались мелким горошком на бумагу ровные и чистые слова.

НОРМА ДЖИН

Маленькую Норму Джин забыли очень быстро. Там и помнись-то было нечего: слабые пряди волос на затылке, светлые глаза, худые ножки — моль на палочках — так шутила про внучку бабушка.

Диковинное прозвище Норме Джин досталось по случаю, когда мелкие обстоятельства собрались в горсть и высыпались в одно утро, перемешались, перепачкались и закрутились в коротком, но неожиданно сильном ветре, налетевшем на бледную девочку в белой плиссированной юбке.

Ветер хлопнул белым подолом, поднял вверх тонкую ткань и тут же упорхнул прочь, не заинтересовавшись целомудренным детским бельишком.

— Ну, е-мое, прям Норма Джин! — зашумел вдруг Валька, до одурения озабоченный половым вопросом подросток из двадцать восьмой.

Совершенно случайно то летнее начало дня собрало под медленно накаляющиеся небесные своды целую кучу народа — кто-то спешил на работу, кто-то возвращался домой, а кто-то предвкушал целый день безделья, безобразия и бесконтрольности.

Валькина шутка имела успех. Смеялся чернявый Жора, меняющий валюту у Центрального рынка, смеялась его жена, послушно рожаящая по ребенку в год и похожая на многорукого Шиву со свитой мелких густоволосых демонов. Смеялся больной Толик — пожилой мальчик с кожным блоком, исписанным в каждой клеточке полоумными стихами, и толстая Вероника Тихоновна хихикала, крепко держа на поводке свою любимую лысоватую болонку.

Хохотала бухгалтер Тамарка, закатывался ее одноногий муж, и даже красавица Коновалова улыбалась, элегантно раскладывая по плечам желтые локоны.

Смеялись и Нормины подружки — пестрая стайка воробушков в одинаковых сандалиях, ну а про мальчишек и говорить нечего, они хоть и не слышали ничего про Норму Джин, но всегда скалятся, особенно когда лето, каникулы, впереди еще целый день на улице, и вечер еще далеко, а осень, конечно же, никогда не наступит.

Девочка в белой юбке заплакала и убежала, и смех погас — не потому, что стало стыдно, а потому что больше не над чем было смеяться.

Снова потекли прерванные разговоры, взрослые закивали друг другу в такт, и дети застучали пыльными копытцами, собираясь в нескончаемое путешествие по крышам, гаражам и подвалам.

— Эй! — послышался вдруг голос откуда-то сверху, — эй, я здесь!

Крик легко затерялся в колодце двора, отталкиваясь от кирпичной многоэтажки, деревянных бараков и ободранного до костей общежития, а потом замер где-то в пахучих зарослях черемухи.

Люди подняли головы и увидели Норму Джин — она сидела на тонких балконных перильцах, словно в дамском седле, и махала руками. Яркое солнце, набираясь летней силы, слепило глаза, мелкую девочку почти не было видно — восьмой этаж все-таки.

Все замолчали. Молчал Жора — через пару лет он купит большой красный дом за городом, а жена его родит мальчика, девочку и еще мальчика. Молчал большой Толик — спустя неделю залетные отморозки избьют его до полной потери разума, а блокнот со стихами порвут и выбросят. Ничего не говорила Вероника Тихоновна — следующей зимой ее старая болонка облысеет до полупрозрачности, а потом тихо скончается на своем клетчатом одеяльце. Не хотелось смеяться и Тамарке с мужем — он не доживет до осени, задохнется в гараже — многовато выпьет и уснет некстати. Пропала улыбка у Коноваловой — та станет еще интересней, когда перекрасится в брюнетку. И много чего будет — драки, слезы, поцелуи, пара свадеб, несколько похорон — хитрые путаницы жизнью, такие бессмысленные вблизи и превращающиеся в изящные узоры при взгляде свысока.

Но сейчас двор молчал, был жив и здоров, а маленькая Норма Джин спрыгнула с перил, но не вниз, а обратно, на балкон, и сидела там почти до обеда, ни о чем не думая и разглаживая пальцами упрямую юбочную плиссировку.

Никакого переполоха не случилось — мало ли что там дети натворят, и не такое бывало. Норма Джин и ее мама, и остроумная бабушка уедут вскоре в другой район, потом в другой город, а потом совсем исчезнут, как и не было. Зарастут за ними все тропинки, порвутся бумаги, угаснут огни, и снова зацветет вечная черемуха, легкая, как белый шелк.

